

М. ГОРЬКИЙ

С О Л О

Этюд *)

— Саковский! Ради бога — не таё громко! Ведь, у вас пианиссимо! Ти-та-та... та-ти-та-та! Тра-да-а-а! И звук совершенно гаснет... умирает... поглощается общим мягким и ласковым шумом пробуждающегося леса... Понимаете?

— Угу, — кивнул головой бритый и усатый чоляк, солист на английском рожке, и снова меланхолично запел свою партию. Репетировали «Пробуждение леса», музыкальную картину, недавно написанную молодым капельмейстером бального оркестра Шарковым. Антрепренер сада, в котором играл Шарков, задумал угостить публику «грандиозным» гуляньем, и Шарков, приурочив к этому гулянию свое «Пробуждение леса», волновался и горячился, спешно разучивая новую пьесу. Он возлагал на удачное исполнение своей пьесы большие надежды. У него была «она», пока еще мало обращавшая на него внимания, и он надеялся, выступив перед «ней» в роли композитора, победить ее. Это было бы дважды хорошо — во-первых, сама она была очень лакомым куском — вдова, два-

дцати пяти лет, всегда со вкусом одета, всегда жива и весела, чуть-чуть скептическая, с такими красивыми, ясными глазами, с роскошным бюстом; во-вторых — у нее после мужа осталось тысяч пять — десять денег и доходный каменный дом.

Он давно, но безуспешно ухаживал за ней, и теперь полагал, что «Пробуждение леса» разбудит и ее сердце.

— Вот так, Саковский, так, даже еще слабее... да. Тимпаны — тихо-тихо начинают сейчас же за вами — это щоры Петра, потом скрипки... кларнеты... так! Валторны! Прекрасно!.. Кларнеты... скрипки старое, сухое, душистое дерево... поют афицы — флейты! Пикколо... вот! Теперь, Ильков, вы вступаете... вы, как валин соло?

Ильков, баритон, молодой человек с длинным лицом и большими печальными глазами, надул щеки, приложил свою трубу к губам и заиграл мечтательно и тихо красивую мелодию, густым, дрожащим, как бы догосяющимся откуда-то издали звуком. Капельмейстер, помахивая палочкой, с удовольствием на лице слушал его, и когда последняя нота, задрожав, порвалась, живо вскричал:

*) Этюд «Соло» относится к малоизвестным произведениям А. М. Горького. Напечатанный 21 июня 1896 г. в «Нижегородском листке», не включался впоследствии ни в собрники рассказов Горького, ни в собрания его сочинений.

— Я был уверен, что вы мастерски справитесь с этой вещью!.. Теперь, господа, шожалуйста, еще раз сначала... Ну-с...

— Павел Борисович... — сказал Ильков, я — могу уйти?

— А вам очень нужно?

— Да... мою партию проведет вот он, — Ильков кивнул головой на своего соседа.

— Да... у него пауза в этом месте... Гм? Хорошо, идите... я наядуюсь на вас.

И с видом командира композитор жестом разрешил Илькову итти. Тот встал, задумчивый и скромный, надел-было шляпу на голову, потом снял ее и, рассеянно оглядывая своих товарищей, замер на месте. Вокруг него текли широкой волной тихие, плавные звуки, точно шептавшие о чем-то торжественном и важном. Капельмейстер, взвужденно дергая левой рукой свою бородку, дирижировал и, казалось, раковины его ушей двигаются от напряжения, с которым он прислушивался к оркестру. Порой его лицо вспыхивало от удовольствия.

Ильков смотрел на товарищей, внимательно читавших поты, и потирал себе лоб, а брови его беспокойно двигались.

— Не дашь ли ты мне три рубля? — обратился он к контрабасу, высокому хохлу Янченке, когда тот делал паузу.

— Это для конфект сий? — ухмыль-

нулся Янченко. Ильков кивнул головой.

— Так тогда не дам... потому глупо кормить козу конфектами — для этого капуста есть.

Ильков вздохнул, нахмурил брови и пошел со сцены садового театра, где происходила репетиция. Вслед ему грустно шел свою партию английский рожок.

Через полчаса Ильков сидел на скамье в глухой аллее сада и чертил тростью на песке дорожки разные фигуры, кусая усы и наблюдая, как конец трости бороздил песок. Иногда он, с ожиданием в глазах, смотрел вдоль аллеи. Но она была пустынна, в ней было прохладно и сырьо, и деревья стояли неподвижно, бесшумно. Кое-где сквозь них просвечивало синево, и чирикали птички в густой темно-зеленой листве, а порой из театра доносились обрывки звуков музыки, с улиц города — глухой дребезг пролеток, звон колоколов. Было уже часов пять — благовестили к вечерне.

Ильков вздрогнул, быстро встал со скамьи и пошел навстречу девушке в сиреневом платье, с зонтиком в руках и в кохетливо сдвигнутой на затылок шляпке, открывавшей личико — круглое, розовое, веселое. Шла она неторопливо и улыбалась задорной, ясной улыбкой...

— Аккуратный, — сказала она, когда он поравнялся с ней и взял ее за руку... — А конфекты? Опять нет?

— Сопечка! Право, ни гроша денег! — умоляюще и сконфузившись сказал Ильков, взял ее под руку и возвращаясь к скамье, на которой сидел.

— А говорит — люблю! Занять рубля не мог?

— Соня — пробовала!

— Ну, уж молчи... Не верю, — и она шаловливо ударила его по плечу ручкой зонтика.

— Вот тебе за то, что ты не слых и не любишь свою девочку...

Ильков плотно сжал губы, как бы желая удержать то, что хотел сказать ей. Она шла рядом с ним и что-то нашевала, с боку глядя в его бледное лицо.

— Ну, что же ты молчишь? И куда мы пойдем?

— Посидим здесь, Соня... Здесь прохладно и никого нет... Мне нужно серьезно поговорить с тобой...

— Опять серьезно? Какой... серьезный. Я знаю, о чем... — и она усмехнулась.

— Конечно, знаешь... Я все про старое хочу сказать тебе, Соня... Как же решилась ты? У него вспыхнуло лицо, и он крепко сжал ей руку, а она отрицательно качнула головой, садясь на лавку, рядом с ним...

— Нет? Сонечка, — когда же? Ведь это мне уже не в силу стало. Сколько времени я терплю, жду, когда ты скажешь мне, что согласна. А ты... так странно... ведь ты любишь меня?

— Конечно! Но, голубчик, куда торопиться? Успеем еще быть мужем и женой. А теперь мне страшно решиться... как мы будем жить на 30 рублей в месяц?

Лицо у нее стало холодно и серьезно, а глаза как бы остree... Ильков несколько отодвинулся от нее и поник головой.

— Живут люди и на двадцать... — тихо сказал он.

— Так ведь, как живут?

— Лучше, чем ты теперь, — тихо сказал он.

— Это почему? — Она нахмурила брови и отняла у него свою руку...

— Видишь ли... Ты не сердись,

я все тебе скажу по-просту, дружески... Теперь на тебя смотрят, как на девушку... сомнительную... знаешь? Около тебя вьются всегда разные черти... этот писарь Харламов.

— Ну, что же? Харламов очень интересный, и мне с ним весело, — покачала она зонтиком, — а ты все выдумываешь... Сомнительная! Знаешь — другая за такое слово раззнакомилась бы с тобой, да!

— Соня, милая?! Разве я так думаю? — испуганным полуслепотом заговорил Ильков, — ведь я вижу это, ну и говорю. Хочу предупредить тебя...

— Меня нечего предупреждать... я сама себе большая... — обижалась она и отодвигалась от него все дальше. Он, наклонясь к ней, горячо говорил, сжимая ее руку.

— Сонечка, да не сердись же! Вот погоди... завтра вечером я играю соло... очень трудное, в этой новой пьесе — знаешь? Я хорошо исполню его, и выиграшу у Шаркова себе прибавку... Он даст! Он тоже, как я, влюблен в одну богатую вдову... и завтрашний день для него — роковой!

— Кто она, а? Скажи! — с любопытством в глазах подвинулась к нему Соня и заглянула в его взъянованное лицо.

— Она? Это не важно! — махнул он рукой.

— Вот видишь — такого пустяка не хочешь сказать... а говоришь глупости... — снова обиделась она.

— Да разве в ней дело! — с отчаянием воскликнул он. — Ведь судьба моя решается. Ну, скажи мне, милая ты моя, скажи, — если Шарков даст мне сорок — ты обвенчашься со мной? Соня? Ну, скажи? Она долго молчала, думая о

чём-то про себя и шевеля губами, как бы считая что-то.

— Соня! — шептал он, склоняясь к ней и первозно сжимая ей руку... — Сорок... — задумчиво начала она. — Это, пожалуй, хватит. Потом еще прибавят или так уж всецца будет сорок? — осведомилась она.

— Прибавят! — горячо шепнул он... — Я буду солистом... дадут и пятьдесят... и семьдесят пять... приступлю в хороший оркестр, сидеть тебя буду, как куколку... лежать, Сонечка!

Воздух вокруг них был влажный, душистый, теплый, было тихо, деревья стояли неподвижно, и небо розовело сквозь их листву, на вершинах уже позлащенную лучами заката.

Соня, положив головку на плечо Илькова, закрыла глазки, а он целовал их и беззвучно шептал ей о своих надеждах на будущее...

— Пойдешь, Соня — если сорок?
— Пойду... — шепнула она...

— Родная! на свадьбу я займусь, и... Господи! как это все будет хорошо! Уж тогда эти дьяволы, которые выются около тебя, не будут говорить о тебе разных подлеостей! Ты будешь моей женой, и я... задам им! А теперь —ах, Соня, иногда они... Янченко, например, такое говорит!

— Ну, что мне сделается от разговоров! — сказала она.

— Ах, ты не слышишь! А каково мне? Я люблю тебя, а они...

— Так ты, — перебила она его, — завтра будешь просить прибавку?

— Нет — после завтра. А завтра я так сыграю это соло! Вот увидишь... услышишь... У тебя цела контрамарка?

(Окончание на 4 стр.).

М. ГОРЬКИЙ

СОЛО

(Окончание. Начало на 3 стр.)

— Да... я приду слушать... Ты, смотри, отличись!

— Уж будь покойна! Мы завтра оба — и я, и Шарков — должны отличиться...

У него весело горели глаза, и руки его дрожали от радостного возбуждения, а она с улыбкой смотрела на него, и было что-то загадочное в этой улыбке. Прядь темных волос ее выбилась из-под шляпки и красиво лежала на розовой щеке... Ильков, любуясь ее лицом, все ближе склонялся к ней... Она посмотрела в даль аллеи — там пропрежнему было пусто... Тогда она бросила свои руки на плечи ему и прошептала:

— Поцелуемся и пойдем!

Она оттолкнула его.

— Будет! Хорошенько помножку.

Они встали и пошли по аллее под руку друг с другом. Она была ниже Илькова и, говоря ей о чём-то узко, он шел, наклонив голову к ее плечу. Слушая его шагот, она ясно и весело смеялась, вызывая своим смехом улыбку на бледном лице своего спутника.

Они шли; сзади их все гуще ложились вечерние тени; подул легкий, влажный пахучий ветер, и деревья аллеи таинственно запушили вслед им.

«Пробуждение леса» начали инструменты нежным, мечтательным

пианиссимо. Казалось, чуть брезжит рассвет, еще солнце далеко, но уже лес чувствует утро и сонно трепещет навстречу ему. Свистнула пикколо-флейта, — проснулась какая-то птичка. Фагот залеп — как будто филин прошлся с тьмой ночной. Гобой вторил ему, как эхо; альт-горны вступили в эти звуки, и все смелее пела пикколо-флейта. А лес шумел — тимпаны, контрабас, виолончели лиши в воздухе густые, но тихие, красивые звуки...

Шарков, с бледным лицом, следил за оркестром и публикой, — публика молчала, густой толпой собравшись вокруг эстрады и внимательно слушала пьесу. На первой скамье сидела «она» с лорнетом в руке и с ее стороны в другой. Шарков видел ее, когда вставал у своего пианинта, и чувствовал теперь ее, стоя к ней спиной. Иногда он оглядывался назад, и в его глазах мелькало ее серьезное, внимательное лицо... Ему было жутко от этого внимания — она понимала музыку и была очень строгим критиком его способностей...

И Ильков видел свою Соню... Она сидела у столика, в стороне от эстрады, под деревом, от которого на нее и на ее подругу падала густая тень. С ними сидел и Харламов, крутивший свои усы, и еще какой-то тоже военный писарь. Илькову было очень удобно наблюдать за этой группой и, судорожно перебирая клавиши своего инструмента, он горячими глазами, с жгучим чувством ревности в груди, следил за каждым движением лица Сони. Вот она делает глазки Харламову... вот он что-то сказал ей, и она тихо смеется... А вот Харламов встает... Зачем? поправляет нацидку ей и... садится с нею рядом, почти закрывая ее от глаз Илькова. Чакицка —